

Вхождение в твою речь

Мысли о поэзии Эвелины на языке поэзии Эвелины

Ускоренность в культуре не должна заменять укорененности в самом себе, — особенно, если ты женщина и живешь между двух стран в XX веке. Эвелина Шац не просто билингва; ради нее введем в обиход понятие бивитализма, когда личность сплавляет безудержный раздвой: русской бесформенной готовности страдать, забывая при этом даже собственный образ, самозабвенно проживая небытие, — и итальянской логической отточности во всем, когда форма как к пределу стремится к формуле. Паломничество русских академиков и академистов живописи в Италию воплотилось в фигуре Эвелининой личности. Смены языка не произошло, просто совершенства Италии проросли сквозь безразмерность России, способствуя кристаллизации женского сознания.

Когда Эвелина говорит о России "я люблю эту географию", — воспринимаешь буквально, хотя способность любого другого человека "любить" — "географию" — вызвала бы сомнение по бестелесности объекта любви. Безграничная способность русского языка производить отвлеченные существительные, проистекающая из национального обыкновения отвлекаться от себя, — попала в переплавку *lingua latina*, который сам по себе, будучи породителем абстракций, требует конкретики в употреблении этих абстракций.

Итак, укорененность в самой себе — и в собственном языке. Отсюда — возможность предельно открыться чему угодно, развернувшись навстречу всем корпусом, жадно поглотить, не причиняя поглощаемому ущерба, переварить, чтобы впитанное умножилось вовне. И — тут же уйти, незаметно для окружающих, в себя, двигаясь в центр сознания по боковой вертикали, обладающей, к стати сказать, некоторым острием, чувствительно нацеленным в сердцевину души. Нисходить в себя, чтобы там безвозвратно остаться, ничего не слыша вокруг.

Таков и прыжок в каждое слово; вчувствование в его отделенность; умение постичь физиологию его. Метафора, иллюстрируя обратное превращение бабочки в куколку, свертывается до звукобуквенного минимума и прячется в дискурс по щучьему велению подсознания.

Развитие образа — прихоть, каприз, баловство; но каприз этот забран в стальные латы, здесь логика, и поэтому придается законотворческий статус всему, что мыслится интимно.

Нерушимый в течение пяти тысячелетий мир женщины — дом — рухнул на наших глазах; дом Эвелины — в каждом слове, входящем в быт, как вещь — именно и обязательно взятая отдельно за свою готовность сочетаться с другими, прижившимися давно. И оттого частое в стихах Эвелины слово "гений" не стоит понимать в оценочном смысле; здесь гений — дух-хранитель, дух-вдохновитель, древнеримский соратник лара-домовика.

Спокойное кроение словоформы по абрису собственного мироощущения ведет к свободе грамматических трансформаций; собственно, путь русской словесности от времени Ломоносова есть борьба за равноправие слов разностильных. У Эвелины слово приносит в стихи ту истинную интонацию, с которой предпочитает произноситься, это рвет стих, но треск разрываемого словесного полотна не какофоничен; так хруст рвущейся из-под спуда слова страсть — не какофония.

"...тогда и сотвори
знамение,
иероглиф "юнь" —
транслирующий
состоянье тела
с пятнадцати до двадцати двух лет;
а в переводе
на язык метафор —
души, способной
к самовыражению,
что походя бессмертье прозревает
— а, вот оно, —
в любой от времени оторванный
момент
который белым флагом на
флагштоке
колышется
в безветрии
создав,
заметить свойство,
присущее ему до сотворенья:
"юнь" может проявиться
равно и в воздухе,
и на бумаге,
но растворяется при трении
о пустоту,
улыбки по себе не оставляя".

Вера КАЛМЫКОВА